

Михаил Ямпольский

Поэтика закрытого сообщества

(ПО ПОВОДУ ТВОРЧЕСТВА ЛЬВА РУБИНШТЕЙНА)

Границы являются неотъемлемой частью нашего существования. Георг Зиммель считал разметку границ практикой, присущей самой жизни. Границы помогают отделить зоны, установить различия, они запускают механизм сравнения, соотнесения, без которого невозможно мышление. В политическом и территориальном смысле они устанавливают рамки сообществ, отделяют свое от чужого и, что немаловажно, создают значимые для человека зоны безопасности. Государственные границы важны и потому, что примерно с XVIII века они оказываются границами наций — то есть больших культурных, политических и языковых образований, претендующих на некоторую однородность. Политическое (и даже геополитическое) тут накладывалось на культурное и языковое. В тех же странах, где политическая сфера была неразвита, например в Германии, на первый план выдвинулось другое средство униформизации населения как нации — культура. Как выразился Фриц Штерн, «немцы использовали свое величайшее достижение, свою культуру, для усиления и оправдания своего величайшего провала — политики»⁴. Это был воистину государственный проект замены политики культурой. Отчасти проект этот так или иначе реализовался и в России, во многих смыслах близкой Германии стране.

Впрочем, идея такой тотальной культурной униформизации нации в конечном счете является химерой. Всякая культура гибридна и состоит из множества слоев. Вилем Флюссер различал, например, в западной культуре до революции масскоммуникации три подкультуры: народную, национальную и универсальную. Народная носила местный, локальный характер, национальная была сконструированной унифицирующей культурой нации, а универсальная связывала нации с общеевропейскими культурными ценностями⁵.

Феномен этот интересен мощным унифицирующим импульсом, но на месте национальной культуры оказывалось такое сложное образование, как советская культура, которая должна была вбирать в себя и универсальную культуру, и множество народных и этнических культур. Советская культура отличалась исключительной закрытостью. Так, репертуар книг и, шире, литературы полностью контролировался несколькими центральными издательствами и несколькими журналами, слегка разнящимися по степени идеологической индоктринации и допустимой свободы. Но в целом вся страна почти одновременно смотрела одни и те же фильмы и читала одни и те же книги. В СССР, как и в нацистской Германии, происходил процесс сознательной и последовательной фольклоризации литературы. Народный слой должен был войти в синтез с «национальным» слоем и создать на основании этого синтеза

4 *Stem Fritz R.* The Failure of Illiberalism: Essays on the Political Culture of Modern Germany. New York: Columbia University Press, 1992. P. 6.

5 *Flusser V.* The Surprising Phenomenon of Human Communication. Metaflux Publishing, 2016. P. 131.

невиданный тип универсальности. В этом контексте совершенно беспрецедентное значение приобрела массовая песня, которая даже в Германии не занимала такого места. В середине 1930-х годов неожиданно возникло и приобрело вес «вышедшее из пролетарских течений песенное направление, связанное с такими именами, как А. Сурков, М. Исаковский, А. Лебедев-Кумач и др.»⁶. Песня становится идеалом литературы, которая призвана соединить воедино флюсеровскую триаду.

Эта утопия песенности в России реализовалась как, пожалуй, ни в одной стране. Популярность сталинской массовой песни, советской песни вплоть до 1980-х годов была беспрецедентной и захватывала практически все слои населения. Но популярность эта пережила сталинский СССР. Достаточно вспомнить КПС и движение бардов. Даже в позднем СССР. Речь, в сущности, постоянно идет о воспроизводстве песенной ориентации даже отчасти высокой культуры и ее расширении за рамки относительно ограниченных культурных слоев. Закрытая среда, обладающая определенным набором ценностей, постоянно воспроизводится за счет форм, обладающих всенародной привлекательностью и как бы «открывающих» закрытость сообщества. Закрытое постоянно воспроизводится как универсально открытое. Закрытое сообщество, о котором я говорю, — это советская интеллигенция, в целом недовольная советским режимом и этически оппозиционная ему. Закрытым это сообщество является прежде всего потому, что потребляемая им культура строго регламентировалась и дозировалась.

Закрытость этого сообщества имела и иные черты. Она по-своему соответствовала дихотомии открытого и закрытого обществ, предложенной Карлом Поппером. Согласно Попперу, на раннем этапе социального развития общество имеет закрытый характер. Такое общество подчинено системе табу и внешних запретов и, по существу, избавляет участвующих в нем от необходимости принимать индивидуальные решения. Вся система поведения тут довольно строго кодифицирована. А система ценностей хорошо знакома всем. По мере развития органическое закрытое сообщество постепенно эволюционирует и превращается в нечто, называемое Поппером «абстрактным обществом». В нем люди перестают обитать внутри воображаемой семьи или клана, могут утратить тесноту связей «типа осязания, обоняния и зрения»⁷. Советское интеллигентское сообщество было закрытым и уменьшенным повторением закрытого сообщества «советской культуры», но, конечно, с поправками, изъятиями и добавлениями. Не удивительно поэтому, что где-то в 1970-е годы в ней появляются такие влиятельные и, по существу, уникальные для мировой культуры течения, как концептуализм и соц-арт, основанные на пародийной и рефлексивной переработке общих стереотипов советского дискурса. Эта закрытость имела существенные последствия для сообщества. Дело в том, что узоость общего культурного и ценностного фонда создавала определенный тип закрытого сообщества, который можно назвать братством. Братство, по мнению Ханны Арендт, — типичное явление «темных времен». Братство обладает тес-

6 Менцель Б. Традиции и новаторство // Соцреалистический канон: Сборник статей / Сост. Х. Гюнтер и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 498—499.

7 Поппер К.Р. Открытое общество и его враги: В 2 т. Т. 1: Чары Платона / Пер с англ. под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс; Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 220.

нотой закрытого сообщества, создающей комфорт для его членов, но, как замечала Арендт, ему сопутствует «радикальная утрата мира... страшная атрофия всех реагирующих на него органов»⁸.

Важно и то, что, когда культурный фонд группы очень узок, любое высказывание, произнесенное в ее контексте, легко становится высказыванием другого, неотличимого от «я». По существу, члены братства всегда говорят цитатами. Это странное состояние неразличимости себя и другого хорошо видно у самого тонкого и рефлексизирующего литератора позднего советского интеллигентского братства — Льва Рубинштейна⁹. Первое, что обычно отмечается в его текстах, — это то, что они написаны на каталожных карточках. Такая архитектура изолирует каждый блок, каждое высказывание. Но главное в каталогах, что каждая карточка, будучи как-то связанной с окружающими ее, сохраняет большую автономию и реализует вокруг себя свой трудно определяемый контекст, отсылающий к *коллективной памяти*. В 2018 году Рубинштейн опубликовал книгу «Целый год. Мой календарь», в которой предложил иную форму организации фрагментов — не каталожную, а календарную. Здесь моделью служили листки отрывного календаря, чья последовательность определялась движением дней и месяцев. Странность такой организации заключается в том, что вся она якобы нанизана на течение времени, но содержание составляющих ее блоков радикально игнорирует время.

В тексте «Двойная оптика» Рубинштейн рассуждает о необходимости сближения двух временных потоков — «истории» и «повседневности»:

Невозможно жить с постоянным осознанием, что ты живешь «в истории». Нельзя всегда жить в истории, игнорируя поучительные уроки летучей повседневности. Но невозможно существовать исключительно в повседневности, не обращая внимания на то, что ты находишься все же внутри истории, ожидающей от тебя осмысления и оценки, пусть и субъективной. <...> Единственно адекватное восприятие любой эпохи — это восприятие посредством двойной оптики. Это восприятие одновременно объективное и субъективное. Одновременно изнутри и извне¹⁰.

В каком-то смысле соотношение исторического и повседневного воспроизводит сложность отношения малого интеллигентского сообщества с «национальным», которое, конечно, является абстракцией. Где располагаются границы между ними, сказать крайне трудно. И Рубинштейн постоянно эти границы прощупывает.

Он, например, записывает: «...мой добрый товарищ Леонид Гиршович написал... то он не может себе представить, чтобы Лев Рубинштейн — то есть я — мог бы публично спеть песню “Бухенвальдский набат”». Он прав, не спел бы.

8 Арендт Х. Люди в темные времена / Пер. с англ. и нем. Г. Дашевского и Б. Дубина. М.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 22.

9 Рубинштейн пишет о «бесперебойном цитатообмене»: «В процессе бесперебойного цитатообмена между различными культурными людьми, наряду с неизменными, обретшими с годами некоторую непоколебимую железобетонность “мы все учились понемногу”, или, например, “быть знаменитым некрасиво”, или, допустим, “хотели как лучше, а вышло...”, или “все смешалось в доме...” и так далее, вполне почетное место занимает и ахматовская строчка “когда б вы знали, из какого сора”» (*Рубинштейн Л. Время политики*. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2021. С. 203).

10 *Рубинштейн Л. Причинное время*. М.: АСТ: CORPUS, 2016. С. 60—62.

Не смог бы»¹¹. Многие советские песни, которые Рубинштейн с удовольствием пел, могли принадлежать и узкому и широкому слою культуры. А «Бухенвальдский набат» стилистически не мог войти в узкий круг.

Но и песни, изначально принадлежавшие узкому кругу, Рубинштейн не стал бы петь. Он не использовал репертуара Окуджавы и иных полуофициальных¹² авторов песен. Так же, как невозможно представить себе Рубинштейна, поющего «Бухенвальдский набат», невозможно представить его поющим песни Визбора. Его почти исключительно интересует пограничная зона, или область перехода общесоветского в культуру «братства», перехода и различия. В значительной степени различные сообщества отличаются друг от друга не столько употреблением тех или иных слов, сколько актуализацией разных значений этих слов и даже разных контекстов одного и того же высказывания. Словарь, как и каталог и календарь, излюбленная языковая тотальность Рубинштейна. Любопытно, что он не имеет в его глазах предполагаемой универсальности. Рубинштейна интересуют именно частные словари сообществ:

...значения многих слов и базовых категорий требуют перевода, перевода с русского на советский, с советского на русский. В наши дни — что еще причудливее — и вовсе с русского на русский. Эти словари — советско-русские и русско-советские, а также и русско-русские — никто пока не издал¹³.

Рубинштейна интересуют именно границы сообществ, которые определяют языковыми парадигмами, словарями, и теми контекстами, которые с ним связаны.

Когда-то Ролан Барт дал следующее определение дискурсу: «...любой конечный отрезок речи, единый по содержанию, передаваемый и структурируемый ввиду вторичных коммуникативных целей, включаемый в культуру благодаря неязыковым факторам»¹⁴. Дискурсы Барта всегда в какой-то мере закрыты, их элементы можно охватить перечнем, и они составляют некоторую коллекцию, единицы которой в конечном счете повторяются, хоть и образуют, конечно, разнообразные сочетания. Можно сказать, что Рубинштейн работал именно с закрытыми дискурсами, как коллекциями. Наиболее радикальные коллекции Рубинштейна состояли из клишированных фраз или фрагментов фраз, вырванных из контекста, но хорошо знакомых читателям. Информационная нагрузка этих «обломков» была близка к нулю, и их смысл был только в обращении к коллективной памяти. Но сами такие коллекции не отражают границы того сообщества, которым они принадлежат. Набор слов может быть совершенно идентичным, а их смысл противоположным:

11 *Рубинштейн Л.* Кладбище с вайфаем. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Здесь и далее цитирую по электронному изданию без указания страниц.

12 Лев Аннинский, написавший книгу о бардах, замечал в ней: «“Советские песни” — понятие слишком размытое, чтобы по ним определиться; в конце концов, из великих бардов у каждого можно найти по одной советской песне, то есть по песне, которую власть приняла и освоила, а осваивала она что угодно, от еврейского местечкового распева до русского народного величания: тут, как известно, расцветали и яблони, и груши: жилось богато» (*Аннинский Л.* Барды. Иркутск: Изд. Сапронов, 2005; цитирую электронное издание без указания страниц).

13 *Рубинштейн Л.* Причинное время. С. 82.

14 *Барт Р.* Лингвистика дискурса // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 457.

Когда памятники жертвам коммунистических злодеяний торжественно открывают выходцы из все тех же самых преступных контор и произносят при этом слова, ничем на вид не хуже тех, которые мог бы сказать и ты, то ясно понимаешь, что нет, это не те слова, они другие, хотя и звучат они точно так же, как и твои, и, как и твои, расставлены в том же самом порядке¹⁵.

В конце концов Рубинштейн приходит к выводу, что собственно содержание высказывания имеет мало смысла, важна «цель высказывания» и еще важнее — «его субъект»:

Говоря попросту, важнее всего не ЧТО и не КАК и даже не ЗАЧЕМ, а КТО. Именно в «кто» содержится и подлинное содержание любого высказывания, и его целеполагание. И если мы задумываемся над тем, кто, что и зачем сказал, то, по крайней мере, не следует забывать, что мы думаем не о том, кто ЧТО сказал, а о том, КТО что сказал¹⁶.

Возникает самый насущный для автора вопрос — установления этого «кто». «Кто» не является единичным субъектом потому, что его идентичность устанавливается его принадлежностью сообществу. Только общность понимания высказывания может установить границы сообщества говорящих, принадлежащих такому «кто», которое имеет отношение к «правде». А правда задается способностью к рефлексивному ироническому отношению. «Кто» становится частью «мы».

Истинность высказывания определяется отношением говорящего или пишущего к определенному сообществу. Но культурное сообщество, особенно в СССР, охватывало гораздо более широкие слои, чем те, которые способны, по мнению Рубинштейна, функционировать в плоскости «правды». Поэтому внутри широкого культурного сообщества есть иное — более узкое. Его культурный фонд во многом совпадает с фондом широкого сообщества, однако интонационное и рефлексивное отношение к этому фонду иное. Но самым главным тут является в каком-то смысле отказ от индивидуальной субъектности говорящего. Говорит всегда «мы» человек, через которого проступают контуры узкого, закрытого сообщества. Это говорение, основанное на общем интонационном чувстве иронии, которое только и отличает правду от лжи и фальши.

Собственно, складывание разных коллективов и есть то единственно новое, что обнаруживает в литературе Рубинштейн: «Нового ничего не бывает. Это только так кажется. Новым и неожиданным может быть только контекст»¹⁷. Собственно, кристаллизация контекста и есть «коммуникативное событие». А каждый контекст порождает новое сообщество и коллективную память, притом что сам детерминирован случайностью. Событие отличается от вещей тем, что оно не обладает сущностью, даже призраком устойчивости, бытия. К числу «коммуникативных событий», о которых он пишет, может быть, например, отнесена очередь. Скопление народа, скованного полнейшим бездействием и ожиданием и, в сущности, неподвижное. Это случайное скопление народа обменивается привычными репликами, которые в случае их каталогизации могут привести к возникновению странного «воображаемого сообщест-

15 Рубинштейн Л. Знаки внимания. М.: Астрель: CORPUS, 2012. С. 10—11.

16 Рубинштейн Л. Время политики. С. 12.

17 Рубинштейн Л. Кладбище с вайфаем.

ва». Но если эти реплики будут звучать не в очереди, контекст сменится и сменится конфигурация сообщества. В этом контексте Рубинштейн подчеркивает особое значение «Очереди» Владимира Сорокина.

Все это заставляет задуматься о том понимании языка и речи, которое являют тексты Рубинштейна. Первое, что необходимо констатировать, — это радикальное отрицание всякого интеллектуального и речевого индивидуализма. Такой индивидуализм в европейской философии восходит к Декарту и мыслит язык как выражение личного опыта человека, укорененного в комплексах ощущений. Отрицание отсылает к феномену «малой литературы», описанному Делёзом и Гваттари. С их точки зрения, большая литература нации или империи позволяет себе сосредоточиться на индивидуальном сознании персонажей, а малая не имеет такой привилегии: «все в ней обретает коллективную ценность»¹⁸. В малой литературе любое высказывание немногочисленных ее представителей приобретает коллективное и политическое значение:

...и если писатель находится на краю или особняком от своего хрупкого сообщества, то такое положение позволяет ему в еще большей мере выражать другое потенциальное сообщество, выковывать средства для некоего другого сознания и некой другой чувственности¹⁹.

Рубинштейн, несомненно, соответствует такому описанию, он не просто ищет «мы», он является его невольным творцом, отчего и такая всеобщая скорбь после его кончины. Интересным тут оказывается превращение любого иронического скептицизма в своего рода политику, хотя это и политика особого толка, я бы сказал культурно-языкового.

Но есть и еще один момент в творчестве Рубинштейна, который прямо отсылает к анализу Делёза и Гваттари. Речь идет об *интенсивном использовании* текста. Интенсивное использование возникает тогда, когда слово становится вещью, утрачивает смысл и вводится в отношение с другими подобными словами-вещами как элемент общей сборки. Карточки Рубинштейна оказываются элементами такой интенсивной сборки. Эти интенсивности Рубинштейн будет описывать как интонацию. А само наличие интонации будет обнаруживать исключительно в малой литературе закрытого сообщества. Государственное языковое сообщество радикально исключало всякую индивидуальность, интонационность, интенсивность и, соответственно, культивировало только примитивную репрезентативность. И это исключение индивидуального для Рубинштейна было связано с подавлением памяти. Рубинштейн даже характеризует состояние тоталитарного общества как «беспамятство». Почти все каталоги Рубинштейна состоят из устойчивых словесных комбинаций, формул. Но эти формулы индивидуализируются интонацией и контекстом. Индивидуальность члена сообщества, рубинштейновского «мы» всегда реализуется через индивидуальное присвоение типового. В этом смысле показательно пристрастие поэта к исполнению старых советских песен, как раз тех самых, в которых писатели тридцатых годов видели идеал «всемирности», всеобщности. Рубинштейн исполняет эти клишированные до невыносимости тексты, максимально их индивидуализируя.

18 Делёз Ж., Гваттари Ф. Кафка: за малую литературу / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2016. С. 21.

19 Там же. С. 22.

Память существенна потому, что она закрепляет историю узуса, на которой основывается сообщество. Но она же придает словам некоторое подобие смысла. Там же, где память подавлена, смысла быть не может, так как слова могут употребляться в любом значении, и каждый раз разным. Там, где слова утрачивают значение, реальность растворяется в неразличимости:

Мы оказались просто вне всякой реальности. <...> А где она, реальность? <...> Реальная реальность существует в отлаженных, в отрегулированных, в «хорошо темперированных» сообществах, где означающее и означаемое сосуществуют если не в полном обоюдном согласии друг с другом, то хотя бы в осознании необходимости такого согласия. Наша страна, наше общество — это не пространство реальности²⁰.

Но там, где нет реальности, где нет устойчивых значений слов, нет и сообщества, оно оказывается абсолютной фикцией власти. Реальность, таким образом, устанавливается не через репрезентативные проявления языка, а через иные языковые конвенции, которые для одних приемлемы, а для других нет. «Мы» Рубинштейна определяется именно через словесную рефлексию. Это «мы» включено в огромное «мы» страны и тоталитарного сообщества. Эти сообщества имеют общий культурный фонд — в значительной степени те же фильмы, те же песни, тот же опыт очередей. Но их фреймы²¹ различны. И фрейм рубинштейновского «мы» проходит через отношение к языку, характерное для «малой» литературы. Именно в усилении этого фрейма для него — основное призвание литературы. Речь идет о проведении тонких интонационных различий интенсивностей, которые отделяют рефлексию от репрезентации.

И в заключении нельзя не отметить, что установление этого «мы» оплачивается высокой ценой, а именно ценой особой закрытости возникающего сообщества «своих». Оно закрыто для «другой» культуры, для всего того, что не является элементом давно устоявшегося поля коллективной памяти. Отсюда и неизменный репертуар песен, исполнявшихся Рубинштейном, и его нежелание расширять этот репертуар. Арендт, конечно, была права, когда писала о «безмирности» братства. Необходимость речи при чужих и для чужих — это и необходимость в публичном пространстве, в открытии политического горизонта, с наличием или отсутствием которого неразрывно связана судьба общества и культуры.

20 *Рубинштейн Л.* Причинное время. С. 429. «В междометиях сейчас, пожалуй, куда больше живого смысла, куда больше очевидных значений, чем в существительных, прилагательных и глаголах» (Там же).

21 Я отсылаю тут к пониманию фрейма, предложенному Грегори Бейтсоном, который в своем исследовании игр указывал на необходимость определенной рефлексивной установки (фрейма) для различения действительности и игры.